

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

66

Кино-издательский консорциум "АВЕРС"

Москва

1991

СТИХИ

Предисловие Иосифа Бродского

Дорогой В.Г., я прочел Вашу рукопись от начала до конца. Впечатление она произвела на меня значительное – во всех, включая и огорчительный, смыслах этого слова. Огорчительность относится к жизни, к тому, как она становится поперек Вашим стихотворениям – а не к самим стихотворениям; к тому, как они, стихотворения, впадают от этой «кости» в зависимость. Начиная примерно с «Одиннадцати стих-й» и до «Спящего» бытие, увы, определяет. И не столько сознание или содержание, сколько форму: Сильное ощущение стилистической инерции и зависимости от сюжета. Со «Спящим» дела, на мой взгляд, улучшаются – в знакомую нам всем сторону слегка безумной камерной музыки. Желаю Вам в этом направлении всяческих успехов, хотя я бы не злоупотреблял играми в алогичность: потому что легки и душу обкрадывают.

Самое замечательное в мною прочитанном – первая половина, стихи до 81-го года. Я догадываюсь, что подобная похвала Вам может быть неприятна. Но «старые» стихи Ваши для меня – новые. Они свидетельствуют о Вас, о Вашей индивидуальности и потенциале в большей степени, чем Вы предполагаете: в них больше Вашего будущего, смею думать, чем в «Спящем». Они, старые эти стихи, поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения. Разумеется, в них слышен Пастернак и слышен – в синтаксисе особенно – Рильке; но за ними стоит не литература, а уникальное существование. Так, по крайней мере, кажется мне. Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары), соплей, столь присущих русскому стиху, когда речь заходит о главном сентименте.

Я мало читал такого и был изумлен этой Вашей смесью любви к «предмету» с любовью к слову: в равной степени сильных и друг в друге себя узнающих. В поэзии одна из них, как правило, хромает. Как читатель поэтов я Вам благодарен; как собрат по перу и как человек вообще – испытал зависть. На мой

взгляд, эта Ваша любовь любви, любовь к любви – самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная. За открытия такого порядка человек расплачивается неспособностью их повторить впоследствии; но бояться этого нечего. Ощущение богооставленности, которое, как мне кажется, Вас донимает, ощущение временное: тяжелый искус, но разрушить Вас он, думаю, не должен. Разве что стихи могут стать похуже, но к сути вещей, к смыслу бытия Вы не ослепнете. Если я могу что-либо посоветовать, то это – писать подлиннее (в процессе многое само становится на свои места) и побольше метрического и строфического разнообразия.

Я хотел бы еще Вам заметить одну вещь насчет ранних. Не печатайте их в строку, прозой. Я понимаю, что теперь такая мода пошла; но не надо дурить читателю голову этим способом – ему со стихами и так не сладко. Загляните в этимологию слова «стих» (верс), и тогда Вам станет понятно, о чем я говорю.

Вообще же из присланного мне Вами можно составить замечательный сборник, и я бы на Вашем месте именно этим бы и занялся: в отечестве или вовне. Думаю, что от сборничка Вашего польза была бы не только лично Вам (отделаться, отделиться, взглянуть на себя *без* этих стихотворений в сознании – как опорожнить шкаф и увидеть, что надо купить новые вещи, надеть нечего), но и для нашей словесности, чтобы кто-нибудь – если не Вы сами – попробовал бы взять нотой выше. Я, во всяком случае, был бы только рад Вам в этом деле помочь, и Вы можете на меня в этом смысле рассчитывать, хотя, по-моему, лучше попытаться издать сборник дома.

Сердечно ваш,
Иосиф Бродский
3.II.1990

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о, всё, чем жив, тобой, твоим, твоими,
на всё твоё душа обречена,
не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя...

* * *

Я так тебя люблю, что ты сошла
за ту, что я люблю, ты так мала,
что помешать мне в этом не вольна,
мысль по ночам к тебе так тяжела,
как материк, как целая страна,
я больше не хочу, чтоб ты жила...

* * *

Соседка наводит печаль,
изводит, доводит до транса,
что скажешь, любезный Мистраль,
про сладкое солнце Прованса?

Всё так же свежи голоса
среди виноградников Арля,
Мирейо, босая роса,
пришпилена к форточке марля...

В Париж? Мне бы тоже в Париж
податься из этой рутины,
туда, где под шляпами крыш
живут старики Ламартины.

Мне тоже бы рифмы искать
среди авиньонских идиллий,
библейских жнецов воспевать,
как ты, провансальский Вергилий!

Петь пряжу, лазурь и сады,
пока соловей не оспорит
мои золотые труды...

* * *

Если скажу: вот я свободен,
холод земли, будь он неладен,
только и годен,
к счастью, бездомен, к счастью, безроден,
путь мой отраден,

если скажу: вот я спокоен,
зависти нет, это ведь Каин
бродит, расстроен,
в мире подлунном (тоже мне, воин!)
он неприкаян,

если скажу: более года
света не видел, да и не надо –
значит, свобода –
полунеправда, полуневзгода,
полубравада...

Но иногда всё это правда,
всё, что ни есть – всё слава Богу,
больше – не надо,
я и сегодня из снегопада
вижу дорогу.

* * *

Готовься к походу,
пусть запахом йода
ударит с холодной волны,
ударит с холодной, зелёной,
и ливень нам явит наклонный,
классический профиль войны.

Здесь что-то нечисто,
здесь будет убийство,
так много цветов на плацу,
так много цветов и военных,
и на море волн белопенных,
что женщине слёзы к лицу.

Японской гуашью
военного марша
расчерчена воздуха ширь,
расчерчена воздуха ширма,
как лёгкие выкриком «смирно!»,
вольно вам орать, командир...

Не к нам ли, взгляните,
протянуты нити,
ещё оборвутся они,
ещё оборвутся от крика,
и ясность Господнего лика
затмится, а что мы одни?

* * *

Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри,
от тебя независимо, взятую всею тобою,
у окна, где дрожат осыпающиеся фонари,
и уходит трамвай к «Блохину», словно зверь к водопою.
Я тем больше люблю её, что не могу сохранить
так, чтоб ты её тоже любила, и, больше не споря,
чтоб душа твоя в силах была повторить
эту чистую линию тела, лишённую горя.
О твоём белоснежном объёме, имеющем зренье и слух,
о гордыне твоей в драгоценном сосуде,
говорю о тебе, о твоём умирающем чуде –
так смиренно создать мог не гордый, но любящий дух.

* * *

В том городе, где я тебя любил,
в том городе, где я тебя хранил,
как, может быть, хранили в прошлом веке
дурные письма – искренне и зря, –
где ввечеру над крепостью заря
всё пробует себя на человеке,

я возвращаюсь мыслями к тебе,
и странное спокойствие в судьбе
я чувствую, почти опустошенье...
Привязанность не тем ли хороша,
что ею орошается душа
и, проходя, даёт ей завершенье.

* * *

В разлуке нет высокого значенья,
и нет разлуки, сердце не избыть,
и бытие не умопомраченье,
и не свобода, и не заточенье,
но то, что не хочу определить.

В нём нет Меня, тем более разрыва.
Кого и с кем? Мы что – разлучены?
На побережье Финского залива,
где тополя стоят неторопливо,
мы всё ещё на жизнь обречены.

ДАНТЕ

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголенность слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,
то это к непосильному труду.
Я видел куст – он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слёз моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь – одно,
езде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено...

* * *

Тихопомешанному на муравьях
чайка была продолженьем ладони,
с пепельной славой на тонких крылах
и в летаргическом полунаклоне.

Он растворялся в соседних мирах.
Бледным цветком, прозябающим в скалах,
осенью в сердце селившийся страх
так и дрожал среди родственных малых.

Жизнью соринки, что слишком мала,
тихопомешанному увлечься
было всегда перед сном и улечься
с радостным риском – была не была!..

Всё продолжается – только и знал,
было движение – так он и помнил,
только и видел: соломинку поднял,
на муравьиной тропе исчезал...

* * *

Вот я иду (не зная, как назвать
те красные цветы, я называю
их цикламены), это надо счесть
естественностью (всё-таки – движенье)...
Потом тот, кто идёт, освобождён
от помысла вернуться восвояси,
и вскоре понимает: восвояси –
пустое сочетание слогов.
Цветы, цветы. Когда я рифмовал,
я говорил: в свинцовых окнах вспышки
(и локти тугодумия из недр
стола произрастали), врал безбожно.
Я говорю, что вижу холм Таким,
и этого уже не повторяю,
сначала потому, что не хочу
(поскольку понимаю: повторенье –
есть сладостная ложь, и мой восторг –
уже лишь осознание восторга),
но далее я вижу холм Таким,
не повторяя и не понимая...
Я только вижу. Вижу и иду.

* * *

Снег – на землю, душа – от земли,
вам сегодня меняться местами,
что ты медлишь, душа, утоли
этот замысел, что тебе больно

и зачем привязалась ко мне?
Наш разлад – он затеян над нами.
Ты любила кого-нибудь? Нет.
А со мной породнилась невольно.

Всё кому-нибудь принадлежит.
Снег и снег, как попытка оспорить,
исчезая, летит и летит,
так прекрасен, что боязно вторить.

Ну и всё же, скажи, мы могли
полюбить, как пришли, не владея?

* * *

В области пчёл, в рыжей стране с солнечной осью,
там, где паук плёл мои сны по древесине,
я собирал дождь золотой, или колосья,
и на веранде павлин плыл в керосине.

Книгою мне лес пламенел, набранный густо
временем игл, липкой листвой и запятыми
угольных мух, влажным камням – влажное чувство
вторило и растворялось в полуденном дыме.

Этот песок вдоль по ступням к пяткам сандалий,
гретый асфальт или залив в отмелях белых,
россыпь мальков, хрупкий хрусталь рыбьих печалей,
их позвонки, перезвон слёз тонкотельных.

Если бы мог, если бы смел я усомниться
в том, что живу, прежде не жив, или растение
если бы смел не называть умершей птицей,
или птицу не называть ангельской тенью,
то и тогда...

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье,
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу ещё не желалось столь жадно жить,
так дышит лягушка, когда малахит её душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости – точная бездна,
нещадная точность! но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

(1973–78 гг.)

ПИСЬМАН.

Без отечества по существу,
на одной из нелюбящих родин
оказавшись в значенье «живу»,
я дышу и тем самым свободен.

Я свободен, я делаю шаг,
проявление собственной воли,
зарождаюсь во мраке – во мрак
переходит, не высветясь, что ли.

Так вот в комнате фары спугнут
застоявшуюся перспективу –
удлинённые тени взбегут
по стене и сбегут торопливо.

И на стыке косых плоскостей
своевольным капризом движенья
ты пронизан до самых костей,
лишний раз изменив положенье...

* * *

Если заперты рыбы, прохожий,
подо льдом чернокровной зимы,
не сошлёмся на промысел Божий –
мы виновны, что это не мы.

Не забудем холодные трубы
(после кубиков на ковре)
первых зим и цигейковой шубы
леденеющий ворс на дворе,

невозможную эту картину,
чистоты, изумленья, тоски,
и ботинки, и вонь гуталина,
вечнорвущиеся шнурки.

Всё могло повернуться иначе,
если б ты не на шутку продрог,
как упорный, косой и собачий
этот бег мостовой поперёк,

и теперь, если ты не безумец,
у перил на железном мосту
ты останься без дома, без улиц,
без всего я имею в виду,

будет страшно и празднично как бы,
как на кухне в торжественный час,
где дышали зеркальные карпы,
шевелия металлический таз,

и, сочувствуя мёрзнущей твари,
ты над этой страной воспари
полосой розовеющей гари,
кровоочащей раной зари...

* * *

Скучно жить стало, в этой связи
мирры, что ли, мне привези,
перьев страусовых, милый муж,
надоело в грязи –
то дожди проливные, то сушь.

Хоть и нету тебе житья
от причуд моих и нытья,
с Пунта дальнего, милый муж;
скоро ль с глупостями ладья
завернёт в нашу глушь?

Что мечтать о полях Иалу,
милый муж, коли служишь злу,
служба – умным, нектар – для дур,
ты пахучую эту смолу
привези, да пантеровых шкур.

Пусть не вспыхнет вода огнём
под твоим; милый муж, веслом,
пусть, с твоим дыханием слит,
Шу ни ночью дыханье, ни днём
от ноздрей твоих не отвратит.

А вернёшься – податься из
этих мест хорошо бы вниз
по течению, там-то уж
ты простишь мой каприз
и тоску мою, муж.

* * *

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: Боже мой,
какая жизнь простая,

как всё проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и всё молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смирняются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить...

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ. В Советском Союзе печатался в «Авроре» и «Вечернем Ленинграде». На Западе – в журналах «Время и мы» и «Стрелец». Руководит литературным объединением и театром-студией «Грифон» при Финансовом институте.